

*Илья Эренбург*

# **С В О Б О Д А**

**( П О Э М Ы )**

**О Г И З**

**ГОСЛИТИЗДАТ 1943**



*Илья Эренбург*

# СВОБОДА

*ПОЭМЫ*

О Г И З

*Государственное издательство  
художественной литературы  
Москва 1943*

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Летучая звезда, и моря ропот,  
Вся в пене, розовая, как заря,  
Горячая, как сгусток янтаря,  
Среди олив и дикого укропа,  
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,  
Моя любовь, моя Европа!

Я исходил петлистые дороги  
Твои, твоё глубокое вчера,  
С той пылью, что старше серебра.  
Я знаю теплые твои берлоги,  
Твои сиреневые вечера,  
И глину под ладонью гончара.  
Надышанная тихая обитель,  
Больших веков душистый сеновал.  
Горшечник твой, как некогда Пракситель,  
Брал горсть земли и жизнь в нее вдвухвал

Был в Лувре небольшой невзрачный зал.  
Безрукая доверчиво, по-женски,  
Напоминала всем о красоте.  
И плакал перед нею Глеб Успенский.  
А Гейне знал, что все слова — не те,

В Париже, среди машин, по-деревенски  
Шли козы. И свирель впивалась в день.  
Был воздух зацелованной святыней.  
И мастерицы простодушной тень  
По скверу проходила, как богиня.

Твои черты я узнаю в пустыне,  
Горячий камень дивного гнезда.  
Средь серы, средь огня, в чаду потопа,  
Летучая зеленая звезда,  
Моя звезда, моя Европа!

## ПАРИЖ

Все тех же ветхих ставней переплет.  
С Ламанша ветер. Тишина и сырость.  
Уплыть? Патруль немецкий не уснет.  
Уснуть? Нет сил. И ночи напролет  
Андре глядит на город: здесь он вырос.  
Не мальчик он, ему семнадцать лет.  
А сколько лет Парижу? Очень много,  
Париж не выдержал. Парижа нет.  
И даже в час, когда дают «тревогу»  
И жалких плошек умирает свет,  
Парижа небо всех небес спокойней,  
Как зеркало, что не смутил покойник.

Каштан твердит каштану: не цвести.  
Зачем свечу зажег ты чужезмцу?  
Туман прохожего спит: прости.  
И даже женских слез печальный жемчуг  
Закрит от света. А на свете немцы,  
И на Конкорд баварский пивовар,  
Луксорскому подобный обелиску,  
Твердит: «Я здесь навек». Далекий выстрел  
И ни души. На сизый тротуар  
Упал каштана цвет. Мерцает бар.  
Вдоль стен сидят скрипучие скелеты,  
В серо-зеленую тоску одеты.

Затравленный терзается Дантон,  
Он больше не ссылается на смелость.  
Что сердце? Препарат. Окаменелость.  
Зачем Париж? Чтоб немцу захотелось

Нырнуть из танка в розовый притон?  
Участник человеческих комедий,  
Косматый астматический Бальзак  
На пьедестале мечется и бредит,  
Уехать — никуда ты не уедешь:  
Тебя на место приведет пруссак.  
Из меди женщина кричит: «Мне больно.  
Меня когда-то называли Вольность».

Но где Париж? Он в соли на губах.  
Чтоб помнили — рукой подать до моря.  
Он в щелях, в подворотнях, в погребках,  
Он в молчаливом непролазном горе,  
Он в грустном нарумяненном задоре,  
Он в крохотном горластом петухе,  
Что на стене мальчишкой нарисован,  
Он хрустнет под ногой, он в чепухе,  
Залапан, околпачен, обворован,  
Он бьется в перепутанном стихе,  
Он в статуе, в ее глазах раскрытых,  
В огромных, черных и пустых орбитах.

Прошло уж много дней, не сосчитать.  
Привыкли, говорят, и обтерпелись.  
Но разве ты привыкнешь, что пришелец  
Твою родную обижает мать?  
Но разве ты привыкнешь не дышать?  
Андре, в какую полночь ты заброшен?  
Ты камнем на какое канул дно?  
Молчи. Под окнами горланят боши,  
Хватают девушек, глушат вино.  
О стенку бейся — немцам все равно.  
Она стоит, как нищенка, у входа.  
«Кто ты?» — кричит патруль. «Кто я? Свобода»

Вернулась мать: «Что сделать на обед?  
Зря прождала — нет больше маргарина.

А немцы все вывозят. Хлеба нет.  
Упала женщина у магазина  
От голода. Мне говорил сосед,  
Что будто боши навсегда в Париже.  
Вчера схватили Жака и Леру.  
Я старая, я все равно умру,  
Но хоть бы ты, мой мальчик, выжил».   
Андре не слушает, он как в жару:  
— Прости меня! Я до любви не дожил.  
Я жить хочу. Но Франция дороже..

Король картофельный и скотовод,  
Ревнитель рода и знаток пород,  
Пурпуровый, лиловый — до удушья,  
Он в Померании из года в год  
Подсчитывал запроданные туши.  
Вели на случку лучшего быка,  
Глаза владельца наливались кровью,  
И мяла воздух потная рука.  
Колол свинью он медленно, с любовью.  
Служанок тискал. Но брала тоска,  
Тяжелая, как на сердце свинчатка:  
Чорт побери, в Европе нет порядка!

Вот он в Париже — обер-лейтенант.  
Он снят на фоне Триумфальной Арки,  
Он шлет своим племянницам подарки,  
И должен подавать официант  
Ему шампанское любимой марки.  
Он говорит: «Тебя зовут Аннет?  
Девчонки здесь — не отрицаю класса...  
Но где порядок? Палки нашей нет.  
Вот и побили... Разве это раса?  
Отстали вы на триста добрых лет».  
Смеется он, и в смехе том: глядите —  
Я немец, я другой, я победитель.



Бывает так: сухой белесый день.  
Не дрогнет лист на дереве. Застыли  
Дымки над скукой тусклых деревень.  
Ни облака. Все духота и лень.  
Вдруг ветер поднял столб горячей пыли,  
И сразу тучи — конница небес —  
Сгрудились. В лоб! Судьбе наперерез!  
Бой орудийный и разрывы молний.  
Как будто мир, обидой переполнен,  
Возжаждал мести. И на мертвый лес  
Стремглав обрушился, речист и дивен,  
Серебряный необычайный ливень.

Еще недавно утром «Не буди» —  
Шептал он маме, неуклюжий школьник,  
Еще недавно прятал богомольно  
Портрет какой-то дивы своевольной.  
Что он теперь прижал к своей груди?  
Мерещатся ему какие звезды?  
Форты Вердена и отец солдат?  
Иль, может быть, Парижа черный воздух,  
Свинцовый дым давнишних баррикад,  
Дома, которые, как он, молчат?  
Он не один: его ведет Свобода.  
Он здесь. Он слышит гогот скотовода.

За что в него? Не думает беда.  
За то, что в кружке солона вода,  
Как кровь. За то, что он пришел сюда.  
За то, что он смеется надо всеми,  
За то, что он не человек, а немец.  
Он грохнулся, как дерево. Андре  
Не слышал выстрела: чудесный щебет.  
Забыты все слова о сне, о хлебе.  
И эти тучи в предрассветном небе,  
Как темная сирень на серебре.

И удивленные взлетают брови:  
Он никогда не видел столько крови.

Глаза раскрыты. Что в зрачках слепых.  
Слеза Аннет? Иль залежи Урада?  
От Сены до Днепра еще немало  
Зубастых, длинноруких и живых.  
Но одного из них сейчас не стало.  
И дрозд в саду приветствует дрозда,  
В ладоши мальчик радостно захопал.  
Стрекочут, не уймутся провода.  
И кажется, что дрогнула Европа,  
Зеленая печальная звезда:  
Над миром нового грехопадения  
Крылами плещет смутный ангел мщенья.

Допрашивал полковник: «Вашу мать  
Зовут Мари-Луиз?..» Андре отрезал:  
«Вы немец. Я не стану отвечать.  
К оружию, граждане!.. Извольте встать,  
Когда поют пред вами «Марсельезу».  
Солдат его на землю повалил.  
А песня бьется — ласточка больная:  
«К оружию граждане!..» Нет больше сил.  
Он весь в крови. Лицо приподымая,  
Еще поет: «День славы наступил...» —  
«Ты не один. Сознайся. Будет хуже».  
И в хрусте еле слышное: «К оружию!..»

Устали палачи — не опускают рук.  
Но крепок дух Андре и ясен разум.  
Полковник жадно ловит каждый звук,  
Глядит и не моргает мутным глазом,  
Молчит, грызет изгрызанный мундштук,  
Не солдафон — философ и психолог,  
Он знает: путь признанья очень долог.

Он подождет еще. Огня! Иголок!  
«Меня, мой милый, обмануть нельзя.  
Ты не один. Но кто твои друзья?»  
Ни страха нет, ни смерти, ни сомнений.  
«Я не один». — «Но кто с тобою?» — «Тени»

Какие тени он припомнить мог?  
Пастушку на коне? Роланда рог?  
Иль батальон марсельских ополченцев,  
Которые без хлеба, без сапог  
Пошли на всемогущих чужеземцев?  
Быть может, он увидел вдалеке  
Другие тени, что едва заметны  
На африканском выжженном песке?  
Вот самолет с кокардой трехцветной.  
Вот фран-тирер с гранатой в руке.  
Нет, видит он, как на стене беленой  
Трепещет тень взволнованного клена.

Деревья Франции, вы вековые  
Могил и колыбелей часовые,  
Вы здесь, вы не оставили поста,  
Платаны и смоковницы густые  
С узором сложным тонкого листа.  
На площади Парижа, дик и страстен,  
Томится вяз. Он помнит: пушкарки  
Коммуну защищали. Страж заря,  
В долине ночи голубеет яшень,  
Под ним рыдала Эмма Бовари.  
Свидетели былой любви и славы —  
Прозрачные французские дубравы.

Поморщился полковник: «Что за бред?  
Раскис мальчишка. Он — ровесник Ганса,  
Ведь моему, никак, шестнадцать лет...

Конечно, жаль... Но так устроен свет,  
И состраданье не к лицу германцу.  
Не для того меня носила мать,  
Я фюрером не для того отмечен.  
Жалеть — тогда не станешь воевать...»  
За грудь схватился: разгулялась печень.  
И закричал: «Мне надоело ждать!  
С кем ты вступил, глупец, в единоборство?  
И сколько вас таких? Десяток. Горстка.

На четвереньках маршал. Перестал  
Петух твой галльский глупо кукарекать —  
Свернули шею, повар ощипал.  
Остались курочки. Довольно некать!  
Что Франция твоя? Этап. Привал.  
Мы на Кавказе. Мы в горах Эпира.  
Повсюду мы. Изволь раскрыть твой рот,  
Убаюдок и несчастный сумасброд!  
Ты руку поднял на державу мира.  
В ногах валяйся, пигалица, крот!  
На Волге мы. На полюсе. В Египте.  
Смеешься, идиот? А ну-ка, всыпьте!»

Андре один О чем еще сказать?  
Что молод он? Что жить ему хотелось?  
Есть времена, когда старуха-мать  
На смерть благословляет сына. Смелость  
Перестают, как воздух, замечать.  
Завидной кажется судьба солдата,  
Когда бежишь и веришь — добежишь,  
Когда кругом свои. Огнем объята  
Земля. И крикнет за тебя граната.  
Андре один. Пред ним молчит Париж.  
Ночь коротка. В оконце дышит лето.  
А жить ему осталось до рассвета.

Бывало, в полночь продавцы газет  
Кричали про злосчастного Отелло.  
В кафе смеялись девушки. Поэт  
Писал о смерти. И осиротелой  
Казалась роза. Газа едкий свет  
Слепил глаза. У стойки рюмку выпив,  
Бродяга говорил звезде «прощай».  
Пекли хлеба. Кричал на линотипе  
Терзаемый несчастьями Китай.  
И круглый год везли на рынки май —  
Цветы и овощи. Париж запоем  
Дышал бензином, пудрой и левкоем.

Другая ночь теперь. «Эй, кто там?» — «Свой».  
Не свой — чужой, немецкий часовой.  
Гроба домов. Пустые щели улиц.  
Он где-то здесь, и он еще живой,  
Париж, веков распотрошенный улей,  
Он шепчется в надышанной норе,  
Где девушки печатают листовки  
О подвиге бесстрашного Андре,  
Он зарывает в цветнике винтовки.  
Он крадется с ножом. И на заре  
Унылый мусорщик увидит снова  
Среди отбросов тело часового.

«Светает. Где-нибудь трава в росе.  
Я вижу, мама, как ты горько плачешь.  
Прости меня, но я не мог иначе.  
Щекой прижмусь к твоей щеке горячей.  
Я не один, со мною ты и все.  
Я прежде думал, что она из меди,  
Но теплая она, как хлеб, как свет.  
Сказали немцы: «Смерть», а смерти нет.  
Ты поклонись деревьям и соседям  
И всем скажи: в последний мой рассвет

Свободу видел я — вот здесь, у края.  
Прощай, любимая! Прощай, родная!»

Неясный час, для многих роковой,  
С его густой молочной синевой,  
Родильных схваток час и в лазаретах  
Агонии, ужасный вестовой  
Судьбы, неотвратимый час рассвета.  
Врывается безумной птицы крик  
В большую брешь разорванного мрака.  
Проснувшись, дети начинают плакать,  
Жестокий час. Бойцы идут в атаку,  
И вот один к сырой траве приник.  
Андре вели по смутным коридорам.  
Он вздрогнул, увидав любимый город.

Чуть розовеют серые дома.  
Кафе. Цветочный магазин. Харчевня.  
Здесь карусель сводила всех с ума,  
Хлопушки, поцелуй, кутерьма,  
И кто-то шел: «Париж, моя деревня...»  
Париж, моя деревня, погоди!  
Закрты ставни. Спит великий город.  
Связали руки, расстегнули ворот.  
Что бьется в каменной его груди?  
Какие страсти видит впереди?  
Он все такой же, молодой и древний.  
Прощай, Париж! Прощай, моя деревня!

О хлебе молят: злаки славословь.  
Он ничего не создал. Меткой рыжей  
На выжженной земле осталась кровь.  
Он умер, потому что есть любовь  
И потому, что родился в Париже.  
Обычный день. И как в другие дни,  
У булочных vastыли парижанки.

Покорные, работают они  
Для немцев этот виноград и танки.  
Но ты остановись и загляни:  
В большом зрачке — Андре отображение —  
Глубокое и темное волнение.

Кто знал подростка робкого Андре?  
В Савойе он — винтовка на горе,  
В ноже садовника и в топоре,  
Он в мастернице раздувает ярость,  
Его дыханье надувает парус,  
И рыбаки на грозный пулемет  
Меняют голубой, прозрачный невод.  
Он заряжает пистолеты гневом,  
Зеленой веткой он в окошко бьет,  
Твердя, что смерти нет, что он живет.  
Песок ступнями легкими исчерчен,  
И нежный след большой любви бессмертен.

Так, горе глубоко тая свое,  
К чужому человеку, скрыта мраком,  
Она пришла: «Теперь я знаю все.  
Я не за тем сюда пришла, чтоб плакать.  
Я — мать Андре. И ты мне дай ружье».  
Так не стерпел Тулон, и ночью поздней  
Кричали потрясенные суда.  
И уходили в горы города,  
И гневом налились Шампани гроздя,  
И небо жгла альпийская вода.  
Парижа вечер, мокрый, сизо-синий,  
Заполнен легкой поступью Эриний.

Полковник позабыл про тот допрос,  
Он на своем веку пытал немало.  
Но почему не спит он? Что с ним стало?  
Припадки печени? Иль, может быть, склероз?

Иль только нахлобучка генерала?  
Он душится, но всюду слышит смрад.  
Он пьет ликер — во рту все та же горечь.  
Он говорит: «Проклятый Сталинград!  
Французы — сброд. Их всех не переспорить.  
Не перевешать всех. Пора назад!  
Откуда вонь? — И он смеется тупо. —  
Как будто от меня. А запах трупа...»

Война! Война! Закончился парад.  
Их зимний ветер из Парижа вывел.  
«Куда ты?» — «Говорят, что в Сталинград»  
«И я туда. Россия — сущий ад.  
Оттуда нам не выбраться живыми»,  
Угрюмые, они идут гурьбой,  
Приказчики, доценты, пивовары.  
Давно ль они рассорились с судьбой?  
Не тешат их ни вина, ни омары.  
Куда везут их? Боже, на убой!  
Там далеко, над степью синеватой,  
Как пламя, занимается расплата.

Читали: необъятная страна,  
Там жил Толстой, там водятся медведи.  
Теперь Парижу близкая она.  
Как был бы мир и будничен и беден  
Без сердца русского! Идет война,  
Родную, теплую терзает землю.  
А люди стали строже и добрей.  
Париж не дышит, он средь ночи внемлет  
Ужасной песне волжских батарей.  
Любовь, ты бездыханных отогрей!  
Они погибли средь степных просторов  
За отчий дом и за далекий город.

Бывало, здесь дремали поплавки  
Мечтателей, и ворковали пары,



Здесь букинистов прятались ларьки,  
Внимая звукам дивного Ронсара,  
Губами шевелили чудачки.  
Зачем солдаты жадными крюками  
Обшаривают дно? Спроси химер,  
Они смеются мшистыми губами.  
И, обливаясь черными слезами,  
Со дна встает застенка кавалер,  
Смердящей смерти крохотный любовник,  
Заколотый Эринией полковник.

Настанет день других, сердечных слов,  
Глубокого таинственного мира.  
Зажгут огни. И снова рыболов  
Уснет в тени. А воробей-задира  
Влюбленных высмеял, и был таков.  
Настанет день — домой придут солдаты,  
И девушки при виде первых звезд  
Не вспомнят бомб жестокие раскаты,  
И о любви дрозду расскажет дрозд.  
Настанет день, загадочен и прост,  
Когда, забыв про танков дикий скрежет,  
Париж победы первый хлеб надрезет.

Тугие гроздья срежут в октябре  
Там, где весной еще сновали мины.  
Париж отстроится. На пустыре,  
Где, кровью обливаясь, пал Андре,  
Распустятся большие георгины.  
Другие песни будут дети петь.  
Но нет, оно не может умереть.  
Любви высокое воспоминанье,  
Короткое горячее дыханье,  
На час согревшее больную медь.  
Подруга юности, любовь народа.  
Бессмертная и чистая Свобода!

## ПРАГА ГОВОРИТ

Приподнял бубен полоумный трагик.  
И кровью нарумянен балагур.  
Ходи весь день — ты не узнаешь Праги.  
Чередование восковых фигур.  
Закат — и тот из розовой пластмассы.  
Большого города привычный вид.  
Стеклянный глаз. Картонные колбасы.  
Ни драки, ни проклятий, ни обид.  
Жди до утра — ты не дождешься часа.  
Когда продрогший камень закричит.  
О если бы снаряды, бомбы, пули!  
Но нет — порядок, тишина и гладь.  
А где слова? Они переметнулись,  
И Праге больше нечего сказать.

А прежде здесь, в клубке гремучих улиц.  
Средь деловитых, суетливых встреч,  
На перекрестке, где века столкнулись,  
Где трудно было душу уберечь,  
Вдруг потрясала нотой необычной  
Славянская медлительная речь,  
Как будто промелькнул в толпе столичной  
Крестьянской девушки цветной платок.  
В той интонации, от всех отличной,  
Жила Свобода. Ты услышать мог  
Мечту простого, доброго народа.  
Приспущена ущербная луна,  
И часовым у черного прохода  
Стоит, не шелохнется тишина.

Здесь люди знали немцев с малолетства,  
И милости никто не ждал. В тот день  
Метались улицы — куда им деться?  
А он шагал, пилотка набекрень,  
И по стене шагала с автоматом  
Знакомая, затасканная тень.  
И женщины — им не достать гранаты  
Ему в лицо плевали. Те плевки  
Мешались с кровью грязного заката.  
Сказали: стой, не опускай руки.  
Сказали: стой и в сторону ни шага.  
Никто им не ответил. С той поры  
Не стало слов. Забилась в щели Прага,  
Запраталась в дремучие дворы.

Дворы какие! В них и солнце спрячешь.  
Стена и снова двор. Полно собак.  
А сколько тут сапожников и прачек!  
Плетется кучер в плохонький кабак.  
Цилиндр на гвоздь. «Хозяюшка, налей-ка...»  
Он Франц-Иосифа честил, да как!  
Ты слышишь голос дорогого Швейка:  
«Вот только умер, снова началось...»  
Я об одном прошу тебя: не смейся.  
На эту жизнь у нас нехватит слез,  
Нехватит крови. Вывесили список  
Расстрелянных. Уж догорел ночник.  
От тусклых букв состарился и высох  
Степенный, молчаливый часовщик.

Все знают, часовщик не скажет слова,  
Он только слушает: часы идут,  
И одному не обогнать другого,  
Вот столько-то отмерено минут.  
Часы седельщика, веселого соседа,  
Он говорил: «Проверь-ка — отстают».

Он — в списке том. Быть может, напоследок  
Он думал, что часы всегда спешат?  
Его убили. Чем он виноват?  
Что он не жаловал чужих солдат?  
Что пошутить любил? Что вырос чехом?  
Часы разобраны. Ночник потух.  
И вдруг смеется сумасшедшим смехом  
Не во-время разбуженный петух.

Сапожнику сейчас не до колодок.  
Утюг остыл. И молоко бежит.  
Что в радио? Взамен немецких сводок  
Вдруг раздается: «Прага говорит.  
Я говорю, седельщик. Пирамид  
Не видеть им. Стерлядок не откусать:  
Им русские землей набили рот.  
Они хотели вывернуть мне душу,  
Но я, седельщик, жив. И жив народ».  
Детишки раскричались у ворот.  
Смеется мир, зеленый и пернатый.  
Но вдруг сапожника взяла тоска,  
Он выглянул, он видит, как солдаты  
Стучат прикладом в дверь часовщика.

Где передатчик? Тайны не распутать,  
И пытками его не испугать.  
Он знает, что отмерены минуты,  
А смерть — одна, как родина, как мать.  
«Скажи, куда ты спрятал передатчик?»  
Еще последний теплится закат.  
Он говорил для голубей, для прачек,  
Для белых сел, для голубых Карпат.  
Ударь ножом хрусталь, и тот заплачет,  
А люди притаились и молчат.  
Он слышит — музыка той дивной речи  
Еще живет, вибрирует, звенит...

Он умер на рассвете. В тот же вечер  
Раздался голос: «Прага говорит».

Звенел девический высокий голос,  
И молодость, пронизывая тьму,  
С невыносимой тишиной боролась,  
Как ласточка, что залетит в тюрьму,  
Как в громе боя жаворонка щебет,  
Что путь откроет к сердцу твоему.  
Дождь нам! Молчи, не о насущном хлебе -  
О крови молит: только кровь врага!  
Пусть вспыхнет дом! Пусть высохнут луга!  
По городам она идет, по селам.  
Ее встречают пулей, бомбой, толом.  
Кричат разодранные поезда.  
И девушка кричит, как дикий голубь,  
Над горем разоренного гнезда.

Я славлю, тишина, твое звучанье,  
Казалось бы, бесчувственный эфир,  
Его мучительные содроганья.  
Клянется Осло. Молится Эпир.  
Коротких волн таинственные сонмы,  
Подобны ангелам, обходят мир.  
Средь одиночества злосчастных комнат  
Они щебечут, клекчут, ворожат:  
Разбойный Любек истерзали бомбы,  
Но жив и не сдаётся Сталинград,  
Он говорит: «Крепитесь! Стойте насмерть!»  
То девушка из Праги говорит.  
Ее когда-то называли Властой,  
Теперь она — трава, песок, гранит.

На свете девушек таких немало,  
Они живут, как птицы, верещат,  
Малиной пахнут губы, шарф примят,

Рука, чтоб помнил, рот, чтоб целовала.  
Доверчивый, чуть удивленный взгляд.  
Она когда-то шила и мечтала,  
Свиданья назначала на углу  
И вглядывалась в розовую мглу.  
Пришел тот день. И воздуха не стало.  
Шитье лежало долго на полу.  
Бил барабан. И немцы шли. С любовью  
Она простилась. Перед ней гроба.  
Не о любви она твердит — о крови,  
Слепая, ненасытная судьба.

«Глушить сильнее! Ей не страшны помехи  
Поймать девчонку! Не жалеть наград!  
Что скажет фюрер? Обнаглели чехи.  
В лицо смеются: «Взяли Сталинград?!»  
Достать! Обшарить весь протекторат!»  
Он побледнел, он вспомнил: «Умирая,  
Железный Гейдрих озадачил всех,  
Он плакал, как дитя. Опять шальная  
Кричит. И крадется проклятый чех...  
Что стоит череп расколоть? Орех!  
Потом напишут некролог. Бумагой  
Не воскресить. Другой возьмет жену.  
Поймать! А воздух выкачать! Над Прагой.  
Как потолок, поставить тишину!»

Нет тишины. У микрофона горе,  
Дыханье девушки, вся сила слов,  
Их не догнать, не сжечь, не переспорить,  
Их нет, но ими дышит каждый кров.  
Что им штыки? Они сильней штыков —  
Язык великодушного народа,  
Нерукотворный и живой кумир.  
Зеленая ветвистая Свобода  
Опять обходит затемненный мир.

Она, как дождь, сухую будит землю,  
Звучаньем древних слов окрылена.  
Бери ружье, а ноги в стремена!  
Ты сотворил Свободу не затем ли,  
Чтоб быть большим и чистым, как она?

Прекрасный рот, он создан был для счастья,  
Для поцелуев. Сжат он. Лоб в крови.  
Палач уныло повторяет Власте:  
«Кто надоумил? Шайку назови».  
Над Прагой тишина. И снова вечер.  
Теперь не говорить, но умереть.  
И в голые девические плечи  
Еще впивается тугая плеть.  
«Кто подсказал тебе слова, ответь?» —  
«Ты не поймешь. Слова живут на свете.  
Часовщика убил ты, не слова.  
Кто подсказал? Не знаю. Встречный ветер.  
А может быть, весенний дождь, и дети,  
И Прага, и еще трава, трава...»

Ей детство вспомнилось — «Дунай» шарманки,  
Акация, раскрытое окно..  
Над горем взбалмошной американки  
Она тихонько плакала в кино.  
Какой она тогда была девчонкой!  
Но день придет, обыкновенный день,  
Другая девушка, нырнув в сирень,  
Отыщет счастье, чтоб смеяться звонко,  
И целоваться, и шептать спросонок  
Любовную святую дребедень.  
Она была, как все. Такой поверьте..  
А дивные слова еще звучат..  
И Власта входит в темный холод смерти,  
Как в полный свежести зеленый сад.

Он вытер лоб фуляром. Наконец-то!  
Ведь сколько было от нее хлопот.  
Зарыть поглубже, там девчонке место,  
Покрепче ей законопатить рот.  
Ты, Прага-деревенщина, сознайся —  
Спокойней с нами: мир, протекторат.  
Работайте, живите жизнью райской.  
А фюреру — ура! Он будет рад.  
Теперь большевики, масоны, мыши  
Хвост подожмут, исчезнут, замолчат.  
Он у окна сановной славой дышит.  
Протектор он, неуязвимый щит.  
Зачем приемник он открыл? Он слышит  
Все тот же голос: «Прага говорит».

«Я — часовщик. Я — девушка. Я — некто».  
Он мечется. Убрать! Закрыть окно!  
Шутить он не позволит: он — протектор.  
И мертвым говорить запрещено.  
Слова летят, они над ним, как птицы,  
Они клюют, стрекочут и когтят.  
Где часовые? Некуда укрыться.  
Слова внутри, как дурнота, как яд.  
Приема нет! А мертвецов глазницы,  
Пустые дыры, на него глядят.  
«Я не могу. Ведь даже Гейдрих плакал...  
Спасись! Уйти! Уплыть на острова!»  
Он корчится. Он повалился на пол.  
И все звенят ужасные слова.

Кто говорит? Сапожник. Белошвейка.  
И каждый двор. А мертвецов не счастье.  
И кучер говорит, приятель Швейка,  
И рудокопа родовая честь.  
Кто говорит? Гуситский старый Табор  
И Мельника веселая лоза.



Цветистой Детвы молодые бабы,  
Что за войну проплакали глаза,  
И Злина дым, и пастухи Оравы.  
Кто говорит? Над Лидице гроза.  
Ты руку подыми, и станет светлой,  
Порозовеет, как заря, ладонь.  
Дохни, и вырвется из горсти пепла  
Крылатый, легкий и большой огонь.

Прости, Свобода! В прежней жизни часто  
Твои шаги глушила славы медь,  
И думала ли хохотушка Власта,  
Что за тебя придется умереть?  
Казалось все простым: и свет, и звуки,  
И мрамор статуй на большом мосту.  
Она не знала, сколько нужно муки,  
Чтоб выстрадать такую простоту,  
И бились окровавленные руки,  
Как крылья птицы, сбитой на лету.  
Но никогда так не блистали звезды,  
Так не цвели спаленные луга,  
И прежнего милее черный воздух,  
И каждая былинка дорога.

## ВАРЯ

Тот город называют Вернигроде.  
Пьют пиво горделивые уроды  
И, пену важно оттолкнув губой,  
Не пивом упиваются — собой.  
Герань краснеет у крахмальных окон.  
Над городом гора, печальный Брокен.  
Там счетовод немало лет и зим  
Твердил звезде, что он неотразим.  
Теперь воюет он. А где же ведьмы?  
Все вымерли: им надоели бредни,  
Смирись, Атлантика! Пади, Памир!  
То Вернигроде покоряет мир.  
И, слыша, как шагают вернигородцы,  
Покойный Гейне все еще плюется.  
Где Вернигроде? Милый мой, везде!  
И говорит коммерции советник:  
«Пересмотреть трактаты о звезде —  
Все это небылицы, басни, сплетни,  
Она романтиков манила встарь,  
Ее мы перепишем в инвентарь».

Сегодня выдали треску. Где Петер?  
На полюсе — он переплюнул ветер.  
Вы прикрепили карточку? Как стриж,  
Он носится, он прилетел в Париж.  
Он прыгает блохой — флажок на карте.  
Хороший глобус, вы его зажарьте.  
Хочет Вернигроде. Мир шипит.  
Где Петер? Опускается на Крит.

Что выдают по третьему купону?  
Средь облаков кивнул он Парфенону,  
Он небожитель и притом солдат,  
Ему гречанки подают мускат.  
Кривляются готические буквы,  
То душат кур, то обнимают куклу.  
А хлеба нет Уснули натошак.  
Им ночью смутная Россия снится:  
Там чернобурок больше, чем собак,  
А сколько там и меда и пшеницы!  
Там Прометей горючее припас.  
Но Петер наш забрался на Кавказ.

Грустит без Петера толстуха Лотта,  
А мужа огорчить ей неохота.  
Она напишет: «Вот опять зима...»  
Но не запачкает слезой письма,  
Не вспомнит, что когда-то лучше было,  
И не попросит «хоть кусочек мыла».  
Он землю покоряет. Ждет она,  
Дочь Вернигроде, верная жена.  
На карте Тобрук, Пятигорск и Волга.  
Всю землю покорить ужасно долго!  
Вот Петер получил «железный крест».  
А сколько вдов? Ведь плакать надоест...  
Газету развернешь и жутко станет:  
«Погиб за фюрера... на поле брани...»  
У Лотты деликатная душа,  
А глаз хозяйский: помнит каждый пфенниг.  
Все приберет спокойно, не спеша,  
Подарок мужа в будни не наденет.  
Пусть Петер мир громит — на то война,  
Кофейной чашки не побьет она.

Что выдают сегодня? Ананасы?  
Альпийский мед? Небесные колбасы?

Все собрались сюда, и стар и мал,  
И Вернигроде чудо увидал:  
Огромный плац, стоят посередине  
Заплаканные, тихие рабыни.  
Ты выбери и деньги приготовь.  
Что выдают сегодня? Пот и кровь.  
Они молчат, родимые дубравы,  
Наташи, Зины, Василисы, Клавы,  
В их простодушной красоте все то,  
Чего у нас не отберет никто,  
Как первый цвет, как осенью рябина,  
Как на морозе жар щеки любимой.  
О ласточки, и вы попались в сеть!  
О иволги, малиновки и славки!  
Вы пели в русском небе. Вам не петь.  
Вас продают в чужой немецкой лавке.  
Вас продают. И что для мясника  
Простого сердца смертная тоска?

Ей сколько лет? Минуло восемнадцать.  
То возраст, чтоб шутить, мечтать, влюбляться  
Она любила. И девичьей чистотой  
Она с ним поделилась — в жизни той.  
А где Сережа? Сердце умирает.  
Он далеко, он на переднем крае.  
Подумать только здесь, в чужом краю,  
Что есть родное, милое «люблю»!  
В зеленом городе, среди акаций,  
Она мечтала о высоком братстве,  
И понимала школьная тетрадь,  
Как можно верить, жаждать и дерзать.  
Стихи любила, всех речей чудесней  
Звучали строки лермонтовской песни,  
Она не знала, что настанет час,  
Ее лишат и слова и свободы,

И выставят зевакам напоказ  
В ужасном непонятном Вернигороде.  
И беззащитна Варя, как трава,  
Как все простые, теплые слова.

Ее заметила толстуха Лотта:  
Вот эта сможет хорошо работать.  
Помыть полы и печку затопить.  
И постирать, и на базар сходить.  
Как будто кроткая... И вид кухарки...  
Но Петер пишет, что они — дикарки.  
Уж не больна ли?... Что-то мутный взгляд...  
Такая может заразить ребят...  
Зато ее прокормишь и крапивой.  
Война — приходится быть бережливой.  
Теперь прислуги лучше не сыскать.  
И вотдохнул чиновник на печать.  
Горда супругом преданная Лотта:  
Ведь это Петер счастье заработал.  
«Иди сюда! По имени как звать?»  
Ей Варя тихо отвечает: «Имя  
Осталось там, где родина и мать.  
Нет больше имени, я здесь — рабыня».  
Ей Лотта надавала оплеух,  
Чтоб выбить из девчонки дерзкий дух.

Смеется Вернигороде: ну и дура!  
Глядите, что за жалкая фигура!  
Одета как! Ей-богу, не могу!..  
Она спала, наверно, на снегу.  
А морда? Можно ль быть такой курносой?  
Дикарка, не видала пылесоса.  
Ты не в гостях. Подай! Полей! Помой!  
Слетай за углем и живей домой!  
Домой... И сразу в кухонном угаре  
Увидела заплаканная Варя

Сирень, что в палисаднике цвела  
И маму у накрытого стола.  
А солнца луч горит на самоваре,  
И прыгает от счастья глупый Шарик.  
Она вошла в свой старый, милый дом,  
Она пришла, до времени состарясь.  
Сереженька, вот мы с тобой вдвоем.  
Ты не узнал меня? Я та же Варя.  
Но не пытай, что было позади.  
Мне холодно, и это — здесь, в груди.

Гремят орудия, грохочут танки.  
И кто услышит слезы полоняйки?  
На ратуше часов чужая медь  
Ей повторяет: время умереть!  
Она одна. Никто ей не поможет.  
Вот только снится, что идет Сережа,  
Звезда на шапке, держит пистолет,  
А немцы убежали, немцев нет...  
Проснулась Варя, и кругом уроды,  
Все тот же ненавистный Верниграде,  
И немцы, ухмыляясь, говорят,  
Что взяли неприступный Сталинград.  
Сияет Лотта, а за нею дети:  
Прислал посылку победитель Петер.  
И Варя видит: ситчика кусок,  
И кофта (слезы подступили к горлу),  
И теплый, как у мамочки, платок,  
И платье детское, рукав оборван..  
Молчите все! Она пришла сюда,  
Горячая родимая беда.

Знакомые и пестрые лоскутья  
Кричат о горе, о сердечной смуте,  
Их можно разгадать, понять, прочесть

Большую, страшную, простую весть.  
И Варя крикнула. Был страшен голос:  
Леса кричали, вымершие села,  
И дети, и орешник, и поля,  
Растоптанная, голая земля.  
И столько было муки в этом вопле,  
И столько ярости: «Да будь ты проклят!»  
Напрасно Вернигроде силачи  
Ей рот зажали: «Хватит! Помолчи!»  
Избитая, в крови, полуживая,  
Она еще грозит и проклиная.  
Вот по столу ударил кулаком  
Надменный комендант. И все притихля.  
«Будь проклят он!» — «Ты говоришь о ком?» —  
«Да будь он проклят, твой всезнающий Гитлер!»  
Все сказано. И башенная медь  
Молчит. Одно осталось — умереть.

Не смерть страшна, а то, что перед смертью.  
Не страх, не офицера изуверство,  
Но эта пустота и тишина.  
Кто скажет, до чего она одна!  
Здесь все чужое, все ей незнакомо,  
Чужие буквы корчатся, как гномы,  
Чужое дерево, а воздух — дым,  
Ей даже небо кажется чужим.  
Чужая речь, ее понять не в силах,  
Чужая, непонятная могила.  
Ей что-то говорят. А взвод готов.  
Вот и конец... Осталось сто шагов.  
Стена, песок казарменного плаца.  
Нет никого. Ей не с кем попрощаться.  
О, если б прилетел к руке твоей  
Из края дальнего и дорогого  
Обыкновенный русский воробей!

О, если б хоть одно родное слово!  
Но даже ветер не найдет пути,  
Не донесет последнего прости.

И вдруг распались стены Вернигроде.  
Все зелено. Нахлынула Свобода.  
Как птицы раскричались! И светло.  
Вот девушки... Какое здесь село?  
Глубокий Брод? Успеновка? Овражки?  
И все в цветах — баранчики, ромашки.  
Но где ж ромашке глупой угадать,  
Что любит, к сердцу захотел прижать?  
Влетела бабочка. А солнце парит.  
Кто там купается? Да это Варя..  
Ты вспомнила — ведь есть еще вода  
И тонкая береза у пруда.  
Слова, слова, как детство, дорогие!  
Ты вспомнила — ведь есть еще Россия.  
Я — русская... Вы слышите меня?  
Отсюда, из чужого Вернигроде,  
В последнюю минуту вижу я  
Росистую и светлую Свободу.  
Постой, еще немного погоди!  
Обнять, прижать ее к своей груди...

Разбойный флаг над ратушей приспущен.  
И Вернигроде — каменная пуща.  
В гробу лежит убитый комендант.  
Кто выстрелил? Откуда диверсант?  
Молчит мертвец. Молчат цветы из воска.  
А патрули молчат на перекрестках.  
Уж с Брокена опять спустилась ночь.  
И кто кричит: «На помощь!»? Не помочь:  
Твой сын в России. Камни не ответят,  
И падает коммерции советник.



Оцеплен город. Вспорот каждый дом.  
Проверен вечер. И допрошен гном.  
Приходит ночь, и снова близкий выстрел.  
Кого убили? Боже, бургомистра!  
Уроды в ужасе: «Сбежал француз,  
Он долго целится, он метит в сердце...  
Их трое. Русские. Я вам клянусь,  
Я видел их... Нет, это бродят сербы...»  
Вдруг Лотта шепчет страшные слова:  
«Стреляет русская. Она жива».

Напрасно прокурор спешит заверить,  
Что это рассказы и суеверья,  
Что русская судом осуждена  
И по закону сразу казнена.  
Но Вернигроде знает: привиденье  
По улицам шагает; то разденет,  
То схватит за ноги, то вынет нож;  
Нагонит — от него не удерешь.  
Как стало в городе черно и шумно!  
Завесив окна, шепчутся о русской:  
«Иди сюда, закрой покрепче дверь.  
Ты слышишь, под окном скребется смерть.  
Вчера она смеялась до упаду:  
Наш дядюшка замерз у Сталинграда...»  
Пришла зима. И вдов теперь во счасть.  
Возмездья час в глухие ночи взрел,  
И письмоношцем вырядилась месть,  
Вот он приходит к Лотте, тихий призрак:  
«Не жди гостинцев, — Петер твой гнет,  
И воронье глаза его клюет».

Молчит холодный, темный Вернигроде.  
Уж мертвецы не вспомнят про походы

Собака не залает на луну.  
Что выдают сегодня? Тишину.  
Будь проклят город, где страдала Варя,  
Где торговали горем на базаре!  
Да поразит тебя такая немота,  
Чтоб не раскрыть твоим уродам рта,  
Чтоб рыбой шевелилась в море крови  
Широкоглазая немая совесть.  
Не вскрикнешь ты ни пьяный, ни больной—  
Ты обречен на пытку тишиной,  
И вздох у губ искусанных застынет,  
Когда тебе напомнят о рабынях.  
Ты позабудешь, что такое смех,  
Ты будешь долго жить — нехватит жизни,  
Чтоб искупить тот беспримерный грех.  
Из каменных глазниц слеза не брызнет,  
И лишь падет на твой ужасный день  
Березы сломанной простая тень.

Нет вечности. Как много звезд на небе!  
Как сладок хлеб! И как случаен жребий!  
Пройдут века, рассыплется гранит,  
И мрамор нежных черт не сохранит,  
Но есть минута — вечности дороже.  
Пошли в атаку. Впереди Сережа.  
Столб земляной. Туман. Разрывы мин.  
Он ранен. Окружен. Но Варя с ним,  
Как будто у него второе сердце  
И соное... Так вот оно, бессмертье!  
Не в статуе, не в камне, не в строке, —  
Оно в дыханьи легком на щеке.  
И если враг сейчас опять ударит,  
Большого друга не оставит Варя.  
Горит лучиной твой короткий век,  
И нет его. Всё — жадная стихия.

Так в вихре умирает человек,  
И заново рождается Россия.  
Очнулся он. Сиделка. Лазарет.  
А где же Варя? Вари больше нет.

## НАСТУПЛЕНИЕ

Скелеты веток. Небо, как слюда.  
Дыханье сжал невыносимый холод.  
А вместо солнца, крохотный осколок  
Окрашенного мутной кровью льда.  
В недвижной тишине смущает сердце  
Присутствие большой и белой смерти.  
Не крикнуть, а уйти немоготу,  
Как будто та, тиха и белолица,  
Едва дохнет, — и станет на лету,  
К ногам падет безжизненная птица,  
Как будто и не снег глаза слепит,  
А несбытья до боли четкий вид.

Обманчив облик тот. Горит рука,  
Железо тронувшая на морозе.  
А под снегами притаилась озимь,  
И дышит в прорубь жадная река.  
На стеклах окон тусклых и печальных  
Зима шутя нарисовала пальмы.  
Во всем жестокий и живой огонь,  
Души непримиримое пристрастье  
И девичье стыдливое «не тронь»  
Полно глубокой, затаенной страсти.  
Она и мертвого сведет с ума,  
Вакханка в шубе, русская зима.

Никита помнит: был такой же день,  
И на снегу спокойные вороны

Чертили что-то. Падала от дома  
Львовая, задумчивая тень,  
А снег слепил: ты отвернись, замурься.  
Какие чудеса бывают в Курске!  
С ним рядом Зина шла. Ее испуг  
Увидев, он запутался в догадках.  
А девушка остановилась вдруг,  
Сняла с руки мохнатую перчатку  
И стала сразу милой и родной.  
Все это было в зиму пред войной.

Опять зима. А Зины нет: война.  
Снежинки что слабей и неприметней?  
Но сердцу кажется тысячелетней  
Снегов торжественная целина.  
Она среди войн, среди перемен и странствий  
Напоминает нам о постоянстве.  
Так, снарядив любимого в поход,  
Присядут, помолчат. Из жизни лютой  
Он, может быть, и в землю унесет  
Ту тихую, короткую минуту.  
Нам сызмала, как этот снег, дана  
Душевная большая тишина.

Война пришла и в наш далекий край,  
И гусеницы яростных чудовищ  
Топтали все. На них восстала совесть,  
Как ты ее теперь не называй,  
Душа народа в простоте исконной,  
Оплот униженных и оскорбленных.  
Ей не нужны богатства и почет,  
Самозабвеньем, как огнем, обята,  
Окружена, она себя взорвет,  
Под танк спокойно поползет с гранатой,  
Без громких слов, без удали шальной,  
Помечена всё той же тишиной.

Никита видел: отступая, немцы  
Детей убили. Словом не сказать,  
Как на морозе мертвого младенца  
Кормила грудью, обезумев, мать,  
Платком повязанная Ниобея.  
Не мрамор то, не статуи музея —  
Но дети, что играли у реки,  
В чернике руки — матери забота,  
Голубоглазые простые васильки,  
Растоптанные вражеской пехотой.  
О, ненависти темная вода,  
Тебя мы не забудем никогда!

Второй зимы был короток привал.  
Где довоенный весельчак Никита?  
Друзей он видел, мертвых и разбитых,  
Он долго, слишком долго отступал.  
В те месяцы, бездождные, сухие,  
Шла на восток угрюмая Россия.  
Он слишком долго, глядя на восход,  
Не радовался солнцу, слишком долго  
Он слушал слезы женщин, крик сирот  
И скрип телег на вздыбленных проселках.  
Он о победе думал средь беды,  
Как в знойный полдень о глотке воды

Дорога наступленья не легка,  
Коней обрубки. Грозный лом орудий.  
Плывут салазки. В снег ныряют люди.  
Передохнуть тебе не даст тоска:  
Твоя любимая у смерти в лапах.  
Ты отступал. Пора тебе на Запад.  
Тебя заждался каждый дом. Они  
Угнали всех. Уж выбивают стекла.  
Сейчас зажгут... Огонь ты обгони.  
Ты упадешь и встанешь полумертвый —

И дальше в путь. Дорога далека.  
Не ты идешь — тебя ведет тоска!

По целине, средь рытвин, рвов и мин,  
Как сквозь года, сквозь едкую поземку.  
От бомбы черен снег и кровь каемкой.  
А где товарищи? Он не один:  
Вся в белом, северная Немезида  
Скользит на лыжах. Горькие обиды:  
И Курск, и Зина, и старуха-мать,  
И век его, как черепок отбитый.  
Он впереди. Его не перегнать.  
Вот и река. Теперь бежит Никита.  
И кажется ему: он мало жил,  
Но в этот день он жизнь опередил.

Уж день погас. Еще сильней мороз.  
И камня тверже снеговое море.  
Ползет. Его отогревает горе,  
Горячее до дурноты, до слез,  
Горячее, как клочок кудластой шерсти.  
Как тот комок, что называют сердцем.  
Дополз. Он слышит вражьи голоса.  
Здесь батарея, саваном одета.  
Ее давно искали. Небеса  
Зеленая прорезала ракета.  
Недаром он так долго отступал:  
Он дал своим условленный сигнал.

Горячий черный парк. Огни ракет.  
Он с Зиной был. Казалось им, волшебник  
По небосводу пишет вязью древней,  
Что праздник вечен, горя больше нет.  
И вздрогнули они, когда померкла  
Последняя комета фейерверка.  
В тот давний день не думал он о том,  
Что, лежа на снегу, легко и быстро

Всю жизнь свою он выразит в одном  
Коротком росчерке зеленой искры,  
Что будут только тишина и снег  
И выдумки-звезды поспешный бег.

Никита прежде и во сне видал  
То Чкалова, то льдину в океанс.  
Тогда стреляли только на экране  
И брали приступом концертный зал.  
Чубастые и робкие подростки,  
Для них романтикой был Маяковский.  
Перо им не терпелось приравнять  
К штыку. И школьные скрипели перья —  
Они едва успели записать  
Свой первый сон. А уж война, ощерясь,  
На них метнулась. Юная рука  
Узнала холод не пера — штыка.

Сергей — огромный, шумный агроном.  
Поэт из «Курской Правды» — тихий Федя,  
Никита. Их родители — соседи.  
Собак гоняли дети, а потом  
Писали в школе те же сочиненья,  
Вдыхали по одной красотке Лене,  
И пели про войну. Никто из них  
Не знал, что значит смерть, ее не видел.  
Их потрясали, как Шекспира стих,  
Как музыка, рассказы о Мадриде.  
Их было трое. Их судьба одна:  
Гул репродуктора, вокзал, война.

Как может стать родным передний край?  
Как может домом показаться рота?  
Есть времена, когда одна забота:  
Не думай и не строй, а умирай.  
Они встречали вместе те же танки,



И засыпали в той же злой землянке.  
Им снился милый Курск, его весна,  
С подругой задушевные беседы.  
Пусть разные шептали имена,  
Им снилась та же бледная победа,  
В шинели пыльной, а лицо светло.  
И бьется перебитое крыло.

Пекли картошку. У околицы села  
Тогда они стояли в обороне.  
И Федя рифму подбирал, ладонью  
Он заслонил глаза. Но смерть пришла:  
Из перелеска показались танки.  
Он притаился у дороги, в ямке,  
Достал щепотку табаку, свернул,  
Потом простился запросто с Никитой  
И по траве пополз. Раздался гул.  
Гигант подпрыгнул и застыл, подбитый.  
А Феде рифмы больше не найти:  
С тяжелой раной умер он в пути.

Случилось раз в тоске сказал Сергей:  
«А Федя не увидит...» И Никита  
Насупился, пробормотал сердито:  
«Увидит». Это разума сильней:  
Ему все кажется, что Федя рядом,  
Идет, скользит, — ведь Федя часто падал...  
Никита вызвался в разведку. Гнать!  
Сергея обнял: «Я вернусь, не хмурься.  
А не вернусь, когда увидишь мать.  
Скажи, что побывал я возле Курска,  
И Зине расскажи, поймет она,  
Смертей то много, а любовь одна.»

Ее не замечали мы порой,  
Как Золушку в простом рабочем платье,

А жизнь прожить—и жизни всей нехватит,  
Чтоб разгадать любви высокий строй.  
Она открылась нам на поле боя  
В тускнеющих глазах, в травинке, в хвое.  
Она вошла в суровый день войны,  
Подруга добрая с лицом простушки.  
И как колодезь, глубиной страшны  
Глаза, которые прославил Пушкин.  
Ракета беглая, любви звезда.  
Он не увидит Зины никогда.

Ее угнали немцы на завод.  
Там день и ночь спуют, ревут машины.  
Там девушки изготавливают мины.  
Одна, быть может, милого убьет...  
«Оставь! Скорей мои отсохнут руки,  
Чем буду я работать против русских».  
Сгноили Зину в лагере. Но страх  
Объял ее тюремщиков бездушных.  
Идет молва, что в Баденских лесах  
Грехи считает русская кукушка,  
И немки, услышав тот темный счет,  
Дрожат и воют ночи напролет.

Никита чувствует—она жива.  
Он видит лето, милое крылечко.  
И кажется ему, что будут вечно  
На небе облако, у ног трава,  
И Зины смех, и пестрота петуний,  
Расцветших в том неконченном июне,  
Как будто счастье хрупкое навек—  
Не дрогнет ночь, не разорвется мина,  
И может растопить гранитный снег  
Его горячее дыханье: «Зина!»  
Она идет по городу, и, хмур,  
Весь просветлел горбатый старый Курск.

А в Курске немцы. Ночью ни души.  
Там соловьям и летом не распеться.  
Там только раздаётся по-немецки  
Команда: покорись и не дыши,  
Глаза завесь и запечатай душу,  
Чтоб даже вздохом правил не нарушить,  
Там научились молча умирать.  
И, ночью выстрел вдалеке услышав,  
Поспешно крестится старуха-мать.  
А ходики стучат, и плачут мыши.  
Уж больше года, как слова ушли.  
А люди на земле, и нет земли.

Она не только чудная страна  
От тундры, где цветок убогий дорог,  
До крымских рощ. Она — родимый город  
И жимолость у милого окна.  
Она тот домик, где Никита вырос.  
И потревоженная совесть мира.  
Мечту мы строили, как строят дом,  
Большие камни на себе носили.  
И падали. Она в тебе самом,  
И та Россия больше, чем Россия,  
На карте тесно ей, но погляди —  
Ты уместил ее в своей груди

Никита полз уверенно вперед,  
Как компас—сердце. Вглядываясь в темень,  
Он не увидел, он почуял: немец  
Ползет навстречу. И Никита ждет.  
И ждет другой. Сейчас они столкнутся.  
Как будто годы, долгая минута...  
Сцепились. Шею немца с кадыком  
Он отвердевшими руками стиснул.  
Все стало липким: тот, другой, ножом  
Ударил. Пальцы не разжались. Мысли

Пропали. А в виске, как крик души:  
Ты видел все, умри, но задуши.

Как много нужно пережить скорбей,  
Как много повидать видений грозных,  
Чтоб человеку заменило воздух  
Короткое и тихое «убей!»  
Он не о том мечтал. Он верил в братство.  
Теперь его объ'ятням не разжаться.  
И если можно летописи сжечь,  
Все поправное снова славословить,  
То никакая суетная речь  
Не укротит разгневанную совесть.  
Есть холод, он страшней любой зимы  
Его в те ночи выстрадали мы.

Силен, заносчив, хорошо сложен.  
Любитель спорта и краса округи.  
Был немец тот за многие заслуги  
«Железными крестами» награжден,  
Народов горе, женщин униженье  
Носил он на груди, как украшенье.  
Когда-то он сигары продавал,  
Копил гроши, присматривая мебель,  
Потом оливы Греции ломал  
И пил бургундское. Лихой фельдфебель.  
Он верил, что земная благодать  
Затем, чтоб было где маршировать.

Он к нам пришел: еще один поход.  
Когда в пыли дорожной бился Гомель,  
Он хохотал. В простом крестьянском доме,  
К природе снисходя, он ел гречишный мед  
И дальше шел. Летели пули мимо,  
В своем полку он слыл непобедимым.  
Вот он лежит. Раскрыт зубастый рот,

И высунут язык. То благосердые,  
Что смерть лицу любому придает,  
Ему не суждено. Он дик и мерзок.  
Ползет Никита, видом тем томим:  
Он умереть не хочет рядом с ним.

Метель утихла. Полночь. Тишина.  
Февральская торжественная стужа.  
А сколько звезд! Они несутся, кружат,  
Как будто даже на небе война.  
Но тихо улыбается Никита:  
Дорога пройдена и дверь раскрыта.  
Его включила в свой глубокий строй  
Столь внятная его душе природа.  
Кого сейчас он назовет сестрой,  
Когда не эту белую Свободу?  
Но скрипнул снег. Тяжелые шаги.  
Очнулся он. Над ним стоят враги.

Большая комната. Здесь все вверх дном.  
Раскрыты чемоданы. В тишине зловещей  
Бумаги жгут, укладывают вещи.  
Немецкий штаб спешит покинуть дом.  
У шкапа суетятся ординарцы.  
А красный карандаш терзает карту.  
Допрашивал Никиту генерал:  
«Кто наступает здесь? Полки какие?»  
Никита, приоткрыв глаза, сказал:  
«Кто наступает, хочешь знать? Россия».  
Он умер с этими словом. А кругом  
Рвались снаряды, содрогался дом.

Кто наступает? За волной волна.  
Здесь украинцы — им домой пора ведь.  
Сибиряки. Снарядов не доставить —  
Заносы. А торопится страна:  
Тот час настал. Железо нас рассудит.

И люди тащат на себе орудья.  
Скрежещут танки. Гром. Короткий бой.  
Рвут женщины сугробы. Бомбы грохот.  
Саперы расчищают путь собой.  
И выплывает из снегов пехота.  
Радист, в который раз, передает  
Крылатое и звонкое «вперед».

Дом не сожгли. Сергей, войдя, взревел:  
«Эх, валенки бы снять и рукавицы!..»  
Еще кофейник на плите дымится.  
Приказы, автоматы, папки дел,  
Французское вино, духи, консервы.  
Пора итти. Ведь этот дом не первый  
И не последний. Вдруг глядит Сергей —  
Никита здесь, и кажется, что спит он,  
Чуть улыбается. «Вставай скорей!  
Ведь это Курск... Проснись!» Молчит Никита.  
И сняли шапки. Друга не вернуть.  
Он рано встал, он первым вышел в путь.

Ведь это Курск, твой старый теплый дом.  
Еще горят постройки. Люди плачут.  
И щелкает последний автоматчик.  
Но наши тут. Ты погляди кругом:  
Повсюду звезды яркие, как детство.  
Вот наша улица, опять Советской  
Ее зовут. И девушки бойцов  
Целуют. Слышишь — соловьи распелись:  
«Я так тебя ждала...» Тех грустных слов  
Знакомая невыразима прелесть.  
Идет Никита. И метет метель.  
И сломанная наклонилась ель.

Позволь мне печку растопить и спечь  
Наш первый хлеб — то будет хлеб Свободы.

Какие б ни были у нас невзгоды,  
Светла народа ласковая речь,  
Слова горят над головой, как звезды:  
Любимый. Озеро. Прохлада. Поздно.  
Привет тебе, студеная вода  
И вышитое мамой полотенце.  
Но никогда, — ты слышишь, никогда! —  
Россия не отдастся чужеземцу.  
Тому порукой этот белый снег  
И все, о чем не скажет человек.

На Запад! Там горит несчастный Льгов.  
Нет передышки. Громяхают мины.  
Сцепились люди, лошади, машины.  
И не смолкает музыка шагов.  
В эфире звуков вспугнутые стаи  
Всю ночь поют: «Россия наступает».  
И слушают Европы города —  
Она идет, она все ближе, ближе,  
И нежная полярная звезда  
Дрожит над затуманенным Парижем.  
Граница ночи, света полоса,  
Сейчас она охватит небеса.

Опять февральская метет метель.  
Она его носила и кормила.  
И вот в снегу холодная могила,  
Последняя земная колыбель.  
Ведь для нее Никита только мальчик.  
Судьба, над матерью солдата сжался!  
Мертвы и дивной кисти образа  
И статуи неповторимой мрамор,  
Когда ты видишь скорбные глаза  
Той, что живые называют «мама».  
Не нужно слов. С ней говорит одна  
Густая дружеская тишина.

Настанет день победы. Он иным  
Мерещится в огнях, как вечный праздник:  
Оркестр, хлопушки, петь, кричать, прокавить,  
Опять почувствовать себя живым.  
А будет день, когда исчезнут войны,  
Особенно прозрачным и спокойным.  
Кто знает шестиствольный миномет,  
Налет штурмовиков, кто видел танки,  
Быть может, всем виденьям предпочтет  
Своени куст на сонном полустанке.  
И тот, кто эту пережил войну,  
Сильней всего полюбит тишину.

Пройдут года, они залечат все.  
И нивы всколосятся с новой силой.  
И будет чуть приметна та могила,  
Где погребен Никита. На нее  
Укажет юноша, сказав любимой:  
«Здесь шли боя в ту памятную зиму...»  
Исчезнет имя — ветер-вертопрах  
Дощечку с надписью снесет, забросит.  
Но каждый год сменяться на часах  
Не перестанут верные колосья.  
Как нежен хлеб! Как тяжело оно,  
Земное золото, любви зерно!

1943



## СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение . . . . .	3
Париж . . . . .	5
Прага говорит . . . . .	17
Варя . . . . .	25
Наступление . . . . .	35

*Редактор Е. Трошенко*

---

*Подписано к печати 5/VIII 1943 г.  
A2620. Тираж 10000. 1½ печ. л.  
2,09 уч.-авт. л. Зак. № 160. Цена 1 рубль.*

---

*2-я тип. изд-ва «Московский большевик»,  
Москва, Петровка, 17.*

1 руг.